

МИХАИЛ
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Сочинения



Анна Петровна Губина была сельской учительницей. Составляла ли эта профессия ее призвание, или просто так случилось, что деваться было больше некуда, – она и сама не могла бы дать ясно сформулированного ответа на этот вопрос. Получила диплом учительницы, потом открылось место на пятнадцать рублей в месяц жалованья, и она приняла его. Осенью, к началу учебного семестра, она приехала в село; ей указали, где помещается школа, и она осталась. К счастью, при школе было помещение для учительницы: комната и при ней крохотная кухня; а то бывает и так, что учительница каждую неделю переходит из одной избы в другую, так что квартира насадительницы знаний представляет для обывателей своеобразную натуральную повинность.

Школа помещалась в просторном флигеле, который при крепостном праве занимал управляющий имением и который бывший помещик пожертвовал миру под училище. Места для учащихся было достаточно, но здание было старое, и крестьяне в продолжение многих лет не ремонтировали его. Печи дымили, потолки протекали, из всех щелей дуло.

Учение было самое первоначальное. Читать, писать, поверхностные сведения из грамматики, первые четыре правила арифметики, краткая священная история – вот и все. Старались, чтобы в год, много в два, ребенок познал всю премудрость. За строгим соблюдением программы, в особенности в смысле ее нерасширения, наблюдал местный священник; попечителем школы состоял сельский староста, а высший надзор был предоставлен помещику, который постоянно жил за границей, но изредка наведывался и в усадьбу. В школу ходили исключительно мальчики.

Дело у Анны Петровны налаживалось не споро. Учительницу не ждали так скоро, и помещение школы было в беспорядке. Прежде нежели собрались ученики, в школу приходили родители и с любопытством рассматривали новую учительницу.

– Вы робят наускоря обучайте; нам ведь только бы читать да писать умели. Да цифири малость. Без чего нельзя, так нельзя, а лишнего для нас не требуется. Нам дети дома нужны. А ежели который стараться не станет, можно такого и поугагать. Вон он в углу – веник – стоит. Сделайте милость, постарайтесь.

Исподволь устроилась она, однако ж, и в школе, и у себя в каморке. Вместо мебели ей поставили простой, некрашенный стол и три табуретки; в углу стояла кровать, перешедшая, вместе с домом, от управляющего; в стену вбито было несколько гвоздей, на которые она могла вешать свой гардероб. При школе находился сторож, который топил печи и выметал с вечера классную комнату. Насчет продовольствия она справилась, как жила ее предшественница, и получила ответ, что последняя ходила обедать к священнику за небольшую плату, а дома только чай держала. Священник и ее охотно согласился взять на хлеба.

– Я не из корысти, – сказал он, – а жалеючи вас: кто же вам будет готовить? Здесь вы не только горячей пищи, и хлеба с трудом найдете. Мы за обед с вас пять рублей в месяц положим. Лишнего не подадим, а сыты будете. Станете ходить каждый день к нам и ознакомьтесь; и вам и нам веселее будет. Ежели какие сомнения встретите, то за обедом общим советом и разрешим. Вкупе да влюбие – вот как по-моему. Ежели вы с любовью придете, то я, как пастырь, и тем паче. Но не скрою от вас: труд вам предстоит не легкий и не всегда беспрепятственный. Народ здесь строптивый, неприветливый, притязательный. Каждый будет к вам требования предъявлять, а иной раз и такие, от которых жутко придется. Людмила Михайловна, предшественница ваша, повздорила с Васильем Дроздом, так насили

отсюда выбралась.

– Кто это Дрозд?

– А здешний воротила, портерную держит, лавочку, весь мир у него под пятой, и начальство привержено. Сын у него в школе, так он подарок Людмиле Михайловне вздумал поднести, а она уперлась. Он, конечно, обиделся, доносы стал писать – ну, и пришлось бежать. Земство так и не оставило ее у себя; живет она теперь в городе в помощницах у одной помещицы, которая вроде пансиона содержит.

– Однако строго-таки у вас.

– И даже очень. Главное, в церковь прилежно ходите. Я и как пастырь вас увещаваю, и как человек предостерегаю. Как пастырь говорю: только церковь может утешить нас в жизненных треволнениях; как человек предвещаю, что нет легче и опаснее обвинения, как обвинение в недостатке религиозности. А впрочем, загадывать вперед бесполезно. Приехали – стало быть, дело кончено. Бог да благословит вас.

Священник был старозаветный, добрый; попадья у него была тоже добрая. Дети находились в разброде, так что старики жили совсем одни. Оба были люди деятельные, с утра до вечера хлопотали и довольствовались одной работницей. Батюшка и до сих пор полеводство держал, но больше уже по привычке, без выгоды. К Анне Петровне они отнеслись сочувственно; она напоминала им о детях. Для нее это было хорошее предзнаменование; несмотря на предостережение батюшки, относительно трудности предстоящего ей пути, она все-таки надеялась найти в его доме приют и защиту.

Она рассчитала, что если будет тратить пять рублей на обед да пять рублей на чай и баранки, то у нее все-таки останется из жалованья пять рублей. Этого было, по ее скромным требованиям, достаточно. Квартира была готовая, и она устроилась в ней, как могла, хотя каждый день выгонял ее часа на два из дома угар. Одежды она привезла с собой довольно, так что и по этой статье расходов не предстояло. Скуки она не боялась. Днем будет заниматься с учениками, вечером – готовиться к будущему дню или проводить время в семье священника, который получал от соседнего управляющего газеты и охотно делился с нею. Ничего, как-нибудь проживет.

Ученье началось. Набралось до сорока мальчиков, которые наполнили школу шумом и гамом. Некоторые были уж на возрасте и довольно нахально смотрели в глаза учительнице. Вообще ее испытывали, прерывали во время объяснений, кричали, подражали зверям. Она старалась делать вид, что не обращает внимания, но это ей стоило немалых усилий. Под конец у нее до того разболелась голова, что она едва дождалась конца двух часов, в продолжение которых шло ученье.

– А я, признаться, посетовала на вас, – сказала она священнику за обедом, – что бы вам стоило на первый раз придти поддержать меня!

– Я именно для того и не пришел, – ответил батюшка, – чтоб вы с первого же раза узнали настоящую суть дела. Если б сегодня вы не узнали ее, все равно пришлось бы узнавать завтра.

На другой день пришел попечитель-староста и осведомился, тихо ли сидят ученики. Она ответила, что сносно и что в будущем дело, конечно, наладится.

– То-то, вы их не жалейте; для того и веник в углу припасен. Выньте розгу и отстегайте! – посоветовал попечитель.

Не прошло, однако ж, и двух недель, как ей пришлось встретиться с «строптивейшим из

строптивых», с тем самым Васильем Дроздом, который вытеснил ее предместницу. Дрозд бесцеремонно вошел в ее комнату, принес кулек, положил на стол и сказал:

– У вас наш мальчонко учится, так вот вам. Тут чаю полфунта, сахару, ветчины и гостинцу, кушайте на здоровье. А сверх того, и деньгами два рубля.

Он достал из-за пазухи кошель, вынул две рублевки и положил рядом с кульком.

– Зачем же это? ведь это не дозволено! – вспыхнула она.

– А вы займитесь с мальцом-то, не задерживайте его.

– Я и без того займусь. Не надо, не надо! Уйдите, прошу вас!

Дрозд обиделся; даже губы у него побелели.

– Стало быть, вы и доброхотством нашим гнушаетесь? – спросил он, осматривая ее с ног до головы негодующим взглядом.

– Не надо! – крикнула она и вдруг спохватилась. Вспомнилась ей Людмила Михайловна; вспомнилось и то, что еще в Петербурге ей говорили, что всего пуще надо бояться ссор с влиятельными лицами; что вот такая-то поссорилась с старостой, и была вытеснена; такая-то не угодила члену земской управы, и тоже теперь без места.

– Послушайте, – сказала она, присмирив, – я и без того с вашим сыном займусь... даю вам слово! Ежели хотите, пускай он ко мне по вечерам ходит; я буду с ним повторять.

– А приношения нашего не желаете?

– Знаете, вы лучше вот что: печи у нас в школе дымят, потолки протекают, так вы бы помогли.

– Это мир должен. Расход тоже не маленький. Печку-то перебрать что стоит? Нет, уж что тут. Счастливо оставаться.

Он надел тут же, в комнате, шапку, собрал со стола приношение и вышел. Она несколько секунд колебалась, но потом не выдержала и догнала его на улице;

– Пожалуйста, не сердитесь. Нам ведь не велено. Присылайте вашего мальчику по вечерам – я займусь им особенно!

Дрозд взглянул на нее с усмешкой.

– Стало быть, про Людмилу Михайловну вспомнили? – сказал он нагло. – Ну, ладно, буду своего мальца присылать по вечерам, ежели свободно. Спесивы вы не к лицу. Впрочем, денег теперича я и сам не дам, а это – вот вам!

Он скорыми шагами удалился, а Анна Петровна осталась на улице с кульком в руках.

Рассказала она об этом батюшке, который посоветовал «оставить».

– Возьмите, – сказал он, – историю себе наживете. С сильным не борись! и пословица так говорит. Еще скажут, что кобенитесь, а он и невесть чего наплетет. Кушайте на здоровье! Не нами это заведено, не нами и кончится. Увидите, что ежели вы последуете моему совету, то и прочие миряне дружелюбнее к вам будут.

Действительно, к ней начали относиться ласковее. После Дрозда пришел староста, потом еще два-три мужичка из зажиточных – все с кульками.

По вечерам открылись занятия, собиралось до пяти-шести учеников. Ценою непрошенных кульков, напоминавших о подкупе, Анна Петровна совсем лишилась свободного времени. Ни почитать, ни готовиться к занятиям следующего дня – некогда. К довершению ученики оказались тупы, требовали усиленного труда. Зато доносов на нее не было, и Дрозд, имевший частые сношения с городом, каждый месяц исправно привозил ей из управы жалованье. Сам староста, по окончании церковной службы, поздравлял ее с праздником и хвалил.

– Вон Людмила Михайловна редко в церкву ходила, – говорил он, – а вы Бога не забываете!

В продолжение целой зимы она прожила в чаду непрерывной сутолоки, не имея возможности придти в себя, дать себе отчет в своем положении. О будущем она, конечно, не думала: ее будущее составляли те ежемесячные пятнадцать рублей, которые не давали ей погибнуть с голода. Но что такое с нею делается? Предвидела ли она, даже в самые скорбные минуты своего тусклого существования, что ей придется влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни с чем иным, кроме хронического остолбенения?

Она была сирота, даже не знала, кто были ее родители. Младенцем ее подкинули, и сострадательная хозяйка квартиры, у дверей которой она очутилась в корзинке, сначала поместила ее в воспитательный дом, потом в приют и, наконец, в училище, где она и получила диплом на звание сельской учительницы. Затем сострадательная душа сочла свой долг выполненным и отпустила ее на все четыре стороны, снабдив несколькими платьями и давши на дорогу небольшую сумму денег. После этого Губина очутилась в селе. Надолго ли? – она даже не задавала себе этого вопроса. Она понимала только, что отныне предоставлена самой себе, своим силам, и что, в случае какой-нибудь невзгоды, она должна будет вынести ее на собственных плечах. Обратиться к кому-нибудь за поддержкой она не имела основания; товарки у нее были такие же горькие, как и она сама. Все они рассеялись по лицу земли, все находились в тех же материальных и нравственных условиях, все бились из-за куска хлеба. Она была более нежели одинока. И одинокий человек может устроиться так, чтобы за него «заступились», может оградить себя от случайностей, а до нее решительно никому дела не было. Даже никакому благотворительному учреждению она не была подведома, так что над всею ее судьбою исключительно господствовала случайность, да и та могла оказывать действие только в неблагоприятном для нее смысле.

Она никогда не думала о том, красива она или нет. В действительности, она не могла назваться красивою, но молодость и свежесть восполняли то, чего не давали черты лица. Сам волостной писарь заглядывался на нее; но так как он был женат, то открыто объявлять о своем пламени не решался и от времени до времени присылал стихи, в которых довольно недвусмысленно излагал свои вожеления. Дрозд тоже однажды мимоходом намекнул:

– Ах, барышня, барышня! озолотил бы я вас, кабы...

Женщина еще едва просыпалась в ней. Она не понимала ни стихов, ни намеков, ни того, что за ними кроется злое женское горе. Ее поражали только глупость и бесцеремонность, но она сознавала себя настолько беззащитною, что мысль о жалобе даже не приходила ей в голову. Все знали, что ее можно «раздавить», и, следовательно, если б она даже просила о защите – хоть бы члена училищного совета, изредка навещавшего школу, – ей бы ответили: «С какими вы все глупостями лезете – какое нам дело!» Оставалось терпеть и крепко держаться за тот кусок, который послала ей судьба. Потому что, если б ее даже выслушали и перевели на другое место, то и там повторилось бы то же самое, пожалуй, даже с прибавкою какой-нибудь злой сплетни, которая, в подобных случаях непременно предшествует перемещению.

Настоящее горе ждало ее не тут, а подстерегало издалека.

В апреле, совсем неожиданно, приехал в свою усадьбу местный землевладелец, он же и

главный попечитель школы, Андрей Степаныч Аигин. Прибыл он затем, чтобы продать леса и на вырученные деньги прожить лето за границей. Операция предстояла несложная, но Аигин предположил пробыть в деревне до мая, с тем чтобы, кстати, учесть управителя, возобновить на всякий случай связи с местными властями и посмотреть на школу.

Это был молодой человек лет двадцати семи, легкомысленный и беспечный. Учился он плохо, образование имел самое поверхностное, но за всем тем пользовался образовательным цензом, и так как принадлежал к числу крупных землевладельцев, то попечительство над школою, так сказать, по принципу, досталось ему. Независимо от материальных пожертвований, которые состоятельный человек мог делать в пользу школы, принцип в особенности настаивал на поддержке крупного землевладения и того значения, которое оно должно иметь в уезде. Нужды нет, что крупный землевладелец мог совершенно игнорировать свой уезд; достаточно было его имени, его ежегодных денежных взносов, чтобы напомнить о нем и о той роли, которая по праву ему принадлежала. У него есть на месте доверенное лицо, которое будет сообщать ему о местных делах и нуждах; наконец, нет-нет, да вдруг ему вздумается: «Не съездить ли заглянуть, что-то в нашем захолустье творится?» И съездит.

Именно таким образом поступал Аигин. В продолжение шести лет попечительства (он начал независимую жизнь очень рано) Андрей Степаныч посетил усадьбу всего второй раз, и на самое короткое время. Принимали его, как подобает принимать влиятельное лицо, и очень лестно давали почувствовать, что от него зависит принять деятельное участие во главе уездной судоустройства. Но куда он еще уклонялся от чести, предоставляя себе принять решение в этом смысле, когда утехи молодости уступят место мечтам честолюбия.

Одного в нем нельзя было отрицать: он был красив, отлично одевался и умел быть любезным. Только чересчур развязные манеры и привычка постоянно носить пенсне, поминутно сбрасывая его и опять надевая, несколько портили общее благоприятное впечатление.

Аигин на первых же порах по приезде посетил школу («это мое детище», – выражался он). Он явился в сопровождении члена училищного совета, священника и старосты. Похвалив порядки, он так пристально посмотрел на Анну Петровну, что та покраснела. Уходя, он сказал совсем бесцеремонно, что ему очень приятно, что в

его школе такая хорошенькая учительница. До сих пор он редко ездил в деревню, потому что все учительницы изображали собой какой-нибудь из смертных грехов, а теперь будет ездить чаще. И в заключение прибавил, что Анне Петровне настоящее место не в захолустье, а в столице, и что он похлопочет о ней.

В тот же день у него был обед, на который были приглашены все прикосновенные к школе, а в том числе и Анна Петровна.

После этого он зачастил в школу. Просиживал в продолжение целых уроков и не спускал с учительницы глаз. При прощании так крепко сжимал ее руку, что сердце ее беспокойно билось и кровь невольно закипала. Вообще он действовал не вкрадчивостью речей, не раскрытием новых горизонтов, а силою своей красоты и молодости. Оба были молоды, в обоих слышалось трепетание жизни. Он посетил ее даже в ее каморке и похвалил, что она сумела устроиться в таком жалком помещении. Однажды он ей сказал:

– Отчего вы не посетите меня? боитесь?

– Нет, не боюсь, – отвечала она, дрожа всем телом.

– Но, в таком случае...

Он не договорил, но взял ее за руку и поцеловал.

Целое после обеда после этого она была как в чад, не знала, что с нею делается. И жутко и сладко ей было в одно и то же время, но ничего ясного. Хаос переполнял все ее существо; она беспокойно ходила по комнате, перебирала платья, вещи, не знала, что делать. Наконец, когда уже смерклось, от него пришел посланный и сказал, что Андрей Степаныч просит ее на чашку чая.

Она подумала: «Ах, как это все скоро!» – и затем почувствовала такую истому в сердце, что открыла окно, чтоб освежить пылающую голову.

Через полчаса она была уже у него.

Роман ее был непродолжителен. Через неделю Аигин собрался так же внезапно, как внезапно приехал. Он не был особенно нежен с нею, ничего не обещал, не говорил о том, что они когда-нибудь встретятся, и только однажды спросил, не нуждается ли она. Разумеется, она ответила отрицательно. Даже собравшись совсем, он не зашел к ней проститься, а только, проезжая в коляске мимо школы, вышел из экипажа и очень тихо постучал указательным пальцем в окно.

– Увидимся! – крикнул он ей.

Она сделала инстинктивное движение, чтобы выйти к нему, но удержалась и только слабо улыбнулась в ответ.

Таким образом, победа обошлась ему очень легко. Он сделал гнусность, по-видимому, даже не подозревая, что это гнусность: что она такое, чтобы стеснять ради нее свою совесть? Он предлагал ей денег, она отказалась – это уж ее дело. Не он один, все так делают. А впрочем, все-таки недурно, что обошлось без слез, без упреков. Это доказывает, что она умна.

На селе, однако ж, ее вечерние похождения были уже всем известны. При встречах с нею молодые парни двусмысленно перемигивались, пожилые люди шутили. Бабы заранее ее ненавидели, как будущую сельскую «сахарницу», которая способна отуманить головы мужиков. Волостной писарь однажды прямо спросил: «В какое время, барышня, вы можете меня принять?» – а присутствовавший при этой сцене Дрозд прибавил: «Чего спрашиваешь? приходи, когда вздумается, – и вся недолга!»

Сам батюшка, несмотря на доброту, усомнился и однажды за обедом объявил, что долее содержать ее на хлебах не может.

– Жаль мне вас, – сказал он, – душевно жаль, но мне, как духовному лицу, не приличествует...

Матушка тоже выразила сожаление и выронила две-три слезинки.

Только школьный сторож выказал к ней участие. Когда она, бледная и еле живая, воротилась от священника домой, он сказал:

– Ничего, потерпите; Бог терпел и нам велел. И я сумею вам щи сготовить.

К довершению всего она почувствовала себя матерью, и вдруг какая-то страшная бездна разверзлась перед нею. Глаза затуманились, голова наполнилась гулом; ноги и руки дрожали, сердце беспорядочно билось; одна мысль отчетливо представлялась уму: «Теперь я пропала».

К счастью, начались каникулы, и она могла запереться в своей комнате. Но она очень хорошо понимала, что никакая изолированность не спасет ее. «Пропала!» – в этом слове заключалось все ее будущее. Признаки предстоящей гибели уже начали оказываться. В праздничные дни молодые сельские парни гурьбою останавливались против ее окон и кричали:

– С приплодцем!

Конечно, у нее еще был выход: отдать себя под покровительство волостного писаря, Дрозда или другого влиятельного лица, но она с ужасом останавливалась перед этой перспективой и в безвыходном отчаянии металась по комнате, ломала себе руки и билась о стену головой. Этим начинался ее день и этим кончался. Ночью она видела страшные сны.

Летом она надумала отправиться в город к Людмиле Михайловне, с которой, впрочем, была незнакома. Ночью прошла она двадцать верст, все время о чем-то думая и в то же время не сознавая, зачем, собственно, она идет. «Пропала!» – безостановочно звенело у нее в ушах.

Людмила Михайловна приняла ее радушно, но тотчас же заметила, что она виновата.

– Это, голубушка, всего менее прощается, – сказала она, и хотя в словах ее не слышалось жестокости, но Анна Петровна поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

– Помогите! – простионала она.

Людмила Михайловна тронулась. Обещала переговорить с содержательницей пансиона, которая в настоящее время жила в деревне, нельзя ли устроить так, чтоб «виноватая» прожила у нее хоть без жалованья, в качестве простой прислуги, те критические месяцы, по окончании которых должна была обнаружиться ее «вина».

– Раньше окончания каникул она вас не возьмет: ей не расчет содержать вас на хлебах, но после, быть может... Во всяком случае, я на днях увижусь с нею и уведомяу вас, – прибавила она.

В то же утро Анна Петровна встретила на улице знакомого члена училищного совета, который нагло улыбунулся ей и сказал:

– О вас доходят до совета неодобрительные отзывы. Ежели вы сознаете их справедливыми, то советуяу принять меры...

Он не докончил, приподнял шляпу и удалился.

Дни шли за днями, а от Людмилы Михайловны никаких вестей не приходило. Или забыла, или ничего не могла. Из училищного совета тоже никаких слухов не было.

Наконец наступил сентябрь, и опять начались классы. Анна Петровна едва держалась на ногах, но исправно посещала школу. Ученики, однако ж, поняли, что она виновата и ничего им сделать не смеет. Начались беспорядки, шум, гвалт. Некоторые мальчики вполне явственно говорили: «С приплодцем!»; другие уверяли, что у них к будущей масленице будет не одна, а разом две учительницы. Положение день ото дня становилось невыносимее.

В ноябре, когда наступили темные, безлунные ночи, сердце ее до того переполнилось гнетущей тоской, что она не могла уже сдержаться себя. Она вышла однажды на улицу и пошла по направлению к мельничной плотнике. Речка бурлила и пенилась; шел сильный дождь; сквозь осыпанные мукой стекла окон брезжил тусклый свет; колесо стучало, но помольцы скрылись. Было пустынно, мрачно, безрассветно. Она дошла до середины мостков, переброшенных через плотину, и бросилась головой вперед на понырный мост.

Жизнь ее порвалась, почти не начавшись. Порвалась бессмысленно, незаслуженно и жестоко.